

В
П 777

МИХАИЛ ПРИШВИН



МАТРЁШКА В КАРТОШКЕ

2-ое ИЗДАНИЕ Г. Ф. МИРИМАНОВА. МОСКВА. 1927

ав. 2/18/16

Печ. 1990

34080

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА

44

Животные.
Сборник.

1-2

проверено
1930 г.

III-17
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

П 777

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА
ШКОЛЬНИКА

МИХАИЛ ПРИШВИН

МАТРЕШКА В КАРТОШКЕ

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РИСУНКИ А. Н. КОМАРОВА

СОДЕРЖАНИЕ
МАТРЕШКА В КАРТОШКЕ.
ЩЕГОЛ-ТУРЛУКАН.
КРАСНАЯ ВЫРУБКА.
ВОРОБЕЙ.
ЁЖ.
ДЕРГАЧ И ПЕРЕПЕЛКА.
КУРОПАТКА.
ГУСЕК.
ГОВОРЯЩИЙ ГРАЧ.

2-е ИЗДАНИЕ

Г. Ф. МИРИМАНОВА

МОСКВА — 1927





ИЗДАНИЕ Г. Ф. МИРИМАНОВА.

Москва, Пречистенский Бульвар, д. № 7.
Телефон № 3-33-04.

37080

1957-58 г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА

Главлит № 90591. Тираж 15000.
Гос. тип. имени Ивана Федорова. Ленинград, Звенигородская, 11.



Матрешка в картошке

До прошлого года в нашей деревне пастуха никогда не нанимали, все, бывало дети пасут, а дед Михей на пригорке сидит, лапти плетет, детей пасет, чтобы не зевали, ворон не считали.

Бывает с дедом, — забудется, лапти тачает, свои годы считает и не видит, что дети все полезли на дерево Москву смотреть. Очнется дед, глянет в сторону детей — все на дереве. Глянет на овец — овцы все в овса рассыпались. Кони во ржи, как в море, плавают, коровы в лугах, а свиньи все на собственной же дедовой полосе картошку рылом роют. Тут бывает плохо ребятишкам, хорошо еще успеют с дерева слезть и разбежаться, а не успел, — то прямо и попадает в Михеевы мохнатые лапы.

Выдумали однажды наши пастухи вот какую игру. Есть славный цветок ромашка, в нем солнышко, и к желтому солнышку во все стороны приставлены белые лучи. Вот если оторвать все лучики и оставить только один — это будет поп с одной косичкой, если два — с двумя косичками, три — с тремя и так, сколько ребят играет, столько можно наделать попов с косичками, только один оставляется без косичек, лысый. Потом каждый пастух вырывает себе на лугу ямку, сундучок, и непременно с крышкой из дерна,



сундучок к сундучку, сколько детей, столько и сундучков. И когда наши пастухи всякий себе выкопали по сундуку, то выбрали и старосту отдали ему всех с воих попов. Староста разложил попов в разные сундучки, конечно, никто не мог заметить, какой поп пришелся к какому сундучку,—это вот и надо теперь отгадать. А у каждого отгадчика заготовлен крючок; делается обыкновенно: из суковатого прутика. Ну, скажем, что мой поп с одной косячкой лежит во втором сундучке, и это верно пришлось, то я свой крючок вешаю на первый сук дерева; не угадал,—крючок остается при мне, пока не угадаю. Но если я и во второй раз угадаю, то перевешиваю свой крючок на второй сук, повыше, значит, поближе к Москве. Так если кто счастлив, из разу в раз перевешивает крючок все выше и выше, да так вот и „едет в Москву“, и за ним все едут, кто поскорей, кто потише. В этот раз первым ехал Антошка Комар, а самой последней девочка—Рыбка. Но вдруг счастье переменялось, Рыбка забрала верх, а Комар остался в самом низу.

Так ехали, ехали, и вот, наконец, Рыбка сверху кричит: — Москва!

Дальше ехать некуда, на верхушке дерева больше и сучьев нет.

Между тем дед Михей вовсе заплелся, сидит себе на горушке и не видит, что дети по дереву едут в Москву, а самая большая черная с белым поясом свинья Матрешка пошла на его собственную полосу картошку копать. Эта Матрешка—самая озорная свинья, и как только она ушла, то и все свиньи за ней, а свиньи ушли, так и кони, и коровы, и овцы. Рыбка сверху первая заметила проказу Матрешки и крикнула:

— Слезай, ребята, Матрешка—в картошке!

Сразу все бросились с дерева и пригнали Матрешку. Стали наказывать Матрешку, как обыкновенно ставят свинью рылом к реке и кто-нибудь из пастухов садится на нее верхом, сзади хлестнут прутиком, и свинья мчит всадника до речки. Вот затем и ставят Матрешку рылом к реке, чтобы ей дальше бежать было некуда, а то мало ли

куда она может увезти седока. После, когда один прокатится и другой так, — все по очереди. Рыбке надо бы первой катиться, она же первая и в Москву приехала, и первая заметила Матрешку в картошке. Но ребята все прокатились, свинья и рот разинула, а Рыбка все ждала свою очередь.

Вовсе ребята свинью измучили, и такой дед чудак, ничего не замечает, весь в свои старые годы ушел. Но Рыбка от своего не отступает, садится верхом на свинью. В это время Антошка Комар, тот что первый ехал по началу в Москву, а потом оказался самый



Бывает с дедом, — забудется, лапти тачает свои годы считает...

последний, взял и устроил скверную штуку. Комар и был во всем виноват.

У свиней как бывает с хвостами: муха сядет, и то она сейчас же хвостик спрячет между окороками. А Комар взял, да и надел Матрешке на хвостик берестяную трубочку, и сам изо-всей силы потянул за кончик. Матрешка со всех ног бросилась бежать и как почувствовала на хво-

сте трубочку, то и думала, что боль от нее, и как только добежала до реки против самого глубокого омута — бух в омут и вместе с Рыбкою.

И скрылась. — Бух — в воду.

— Ах! — пастухи.

И только круги на тихой воде, да по кругам плавает берестяная трубочка.

Дед Михей лапти плетет, ничего не видит, ничего не слышит, весь в свои старые годы ушел.

Онемели ребята от страха, стоят и не шевельнутся, и только во все глаза смотрят на страшное место, где плавает берестяная трубочка. Вдруг из воды пузыри и целый фонтан, потом пятачок нарыльный свиной, уши, на ушах руки, и спина и на спине — Рыбка!..

Взвизгнули от радости все пастухи.

Думали, вот как только свинья до берега доплывет, Рыбка непременно на сухом месте соскочит. Но вода Матрешке только силы подбавила: из воды она как выскочила, прямо в лес. Рыбка не успела соскочить и вместе с Матрешкой исчезла в лесу.

Наш лес, говорят, на сто верст раскинулся, но кто говорит на сто, — до ста и считать только может. Куда больше наш лес, и в лесу в этом зверья всякого видимо-невидимо: волк, медведь, рысь, всякая всячина. В этот лес и увезла Матрешка маленькую Рыбку.

Скрылась девочка в темном лесу, и в это время дед Михей поднимает, наконец, от лаптей свою старую седую голову... Глянул дед да так и обмер: все деревенские свиньи на его же полосе картошку копают, на полдесятины овцы положили овес, кони от слепней в рожь забрались — высокая рожь, только головы конские видны.

Старый бросился к пастухам, а те же стоят себе кучкой и все в лес смотрят за реку.

Оторопел дед.

— Что же, ай вы стеклянные?

Дед Михей показал на коней во ржи, на свиней в картошке.



Вдруг из воды пятачок нарыльный свиной, уши, на ушах руки, и спина
и на спине — Рыбка!...

Пастухи все посмотрели туда и не тронулись, стоят и молчат.

Тут дед и заметил — Рыбки нет между ними, спрашивает:

— Где Рыбка?

Все молчат, боятся сказать: Рыбка — дедова внучка.

Тут хорошую выбрал дед Михей прутвинку и на Комара. И все Комар рассказал, одно утаил, как он берестяную трубочку Матрешке на хвостик надел и за кончик больно потянул.

Дед больше не стал допытываться, бежит скорее в деревню, сход собирает. Бросились враз мужики все спасать рожь, овес, картошку, а когда все покончили, скорей за реку в лес и там рассыпались в разные стороны.

Так, у них в поисках вся ночь прошла. Солнышко уже высоко было, когда дядя Митрофан вдруг загукал сбор. Увидел дядя Митрофан белую рубашку на кусту, глянул под куст, а там голенькая Рыбка в мох закопалась и вот как сладко спит. И какая оказалась хозяйственная: мокрую рубашонку на куст повесила, и славно она у нее за ночь высохла. Собрались мужики веселые и пошли домой, горевали только, что волк свинью съел. Но и то хорошо обошлось: оказалось, Матрешка еще ночью к своей хозяйке Матрене из лесу прибежала. В тот же день постановили на сходе, чтобы у нас, как и в других деревнях был настоящий пастух и детей этим трудным делом больше не мучить. Оставили детям одно только занятие — приглядывать за гусями. Но гуси весь день на реке, и за ними глядеть легко. Теперь наши дети без опаски „ездят в Москву“.



Всё это и многое другое вы узнаете, если прочтёте книгу «Рыбка» — книгу о детях и о жизни.

В. П. ПЕТРОВ



Щегол-турлукан

В Сокольниках, под Москвой, живет один мой приятель, зовут его Петр Петрович Майорников—большой любитель и первый в Москве ценитель маленьких певчих птиц. Из окна у него проведена веревочка в сад, к понцам—сеткам для лова. Почти на каждом дереве в саду висит клетка с какой-нибудь певчей птицей. И так уж всегда у птиц; если какая-нибудь пролетает над садом, птичка в клетке непременно ей голос подаст, и та сядет на дерево. В это время Петр Петрович открывает окно, берется за веревочку и, когда прилетевшая птица станет клевать рассыпанные между понцами семечки,—дернет за веревку. От этого понцы—две натянутые на рамы сетки—схлопываются и закрывают, как ладони, птичку. Пойманную птичку Петр Петрович сажает в клетку и выслушивает, хорошо ли она поет,—хороших оставляет себе, или продает таким же любителям, плохих выпускает. Мы



с вами, не зная этого дела, ничего не пойдем ни в пении птиц, ни даже о чем говорят между собой птицеловы: у них и язык свой. Если вы хотите с этим познакомиться, то пойдите в воскресенье на птичий базар на Трубной площади ¹⁾).

Раз я был на этой „Трубе“ и услышал, как из-за бочки насвистывает разными коленцами и в птичьих лавочках насвистыванию отвечают подобные голоса. Скоро я понял, что за бочкой не на один голос, а на голоса разных птиц кто-то насвистывает. Заглянув туда, я увидел своего приятеля Петра Петровича Майорникова.

— Что вы туть делаете?—спросил я.

— Птиц выслушиваю—сказал Петр Петрович,—кажется есть недурной чиж.

И засвистел чижом.

В лавочках похоже ответили.

— Так и есть,—обрадовался Петр Петрович,—как он овсянку стегнул.

Проверили еще раз, и чиж действительно спел одно коленце, подобно птичке овсянке.

Мы пошли, купили чижа и оказалось,—он не только был с овсянкой, но еще и с копейкой на голове.

— Конечно,—сказал Петр Петрович,—бывают чижи и получше...

— Какой же тот, самый-то лучший?—спросил я.

— Самый лучший чиж—сказал Петр Петрович—бывает с овсянкой и с двумя копейками, но и то не самый первый.

— А первый?

— Тот должен быть и с овсянкой, и с двумя копейками, и еще с касаткой.

Мы пересмотрели, переслушали разных птиц: были тут клесты, кривоносы, лубоносы, снегири, юрки, зяблики, овсянки, реполовы, чечетки, синицы, глушки, московки...

Но среди всех этих птиц нехватало любимого мной щегла, птички изумительной по красоте своего оперения.

¹⁾ Теперь птичий базар перенесен на Миусскую площадь.

Один торговец предложил было нам плохенького щегла и назвал его турлуканом...

Петр Петрович засмеялся.

— Слышал, брат, ты звон, а лучше никому не говори.

— Отчего?

— Оттого, что у твоего щегла лысинка на голове велика, с такой лысинкой не может быть турлукана.

— Как так?

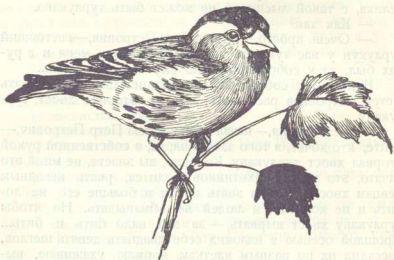
— Очень просто,—сказал Петр Петрович,—настоящий турлукун у нас тут есть только один, он у меня и в руках был, да я собственноручно ему хвост оторвал...

Вокруг нас собрались охотники и стали упрашивать Петра Петровича рассказать, как он оторвал хвост турлукану.

— Бейте меня,—начал свой рассказ Петр Петрович,—бейте, кто хочет, я того заслужил; да, я собственной рукой оторвал хвост турлукану. Конечно, вы знаете, не мной это начато, это у всех охотников водится, рвать негодным певцам хвосты, чтобы знать потом и больше его не ловить и не кормить, и людей не обманывать. Но чтобы турлукану хвост вырвать,—за это надо бить и бить... Прошлой осенью я наловил себе двадцать девять щеглов, рассадил их по разным клеткам, кормлю, ухаживаю, выслушиваю, и нет мне за это ничего: до Рождества ни один даже не пикнул. Потом скоро и свету прибавилось, и в полднях капёль началась—тут же непременно бы должны птицы начинать, а они все молчат.

И вот уж и снег подтаивает, слышу, легенькое обыкновенное „цибь-бить“, и то без всякой заркости. На Пасхе показалось будто один из них пик-пикнул синицу, но как потом ни слушал, не повторилось. И так у меня за всю зиму не только турлуканья не было, но даже ни один из двадцати девяти не циперекнул. Весь я издержался на корм птицам, вижу, ничего больше не остается делать, как только рвать хвосты и выпускать на волю. Выхожу я за этим делом в сад, день самый лучший весенний, и стало мне жалко немного рвать птицам хвосты, но

очень уж я на них досадовал, и не хотелось тоже, чтобы другие охотники ловили их и расходовались, или бы обманывали других. И вот оборвал я первому хвост, он полетел, сел сначала на мою грушу, обобрался, очистился и летит в сад к соседу, а сосед мой, такой же шеглятник, как и я, Ваня-Шапочка камнем гонит его дальше, потому



что по хвосту видит,—щегол был в руках. Так и другой и третий, и все двадцать восемь бесхвостых разлетелись, наконец вырываю последнему, двадцать девятому, и вот видите ли что... вот как только сел на мою грушу, очистился, оправился да как запоеет. Дух у меня захватило, стою, как истукан. Он и турлуканит, и трещит, и циперекает, а как из-под ципереканья турлукана пустит—тут у меня коленки затряслись, из-под пяток дрожь по ногам побежала, выше и выше по животу, и вдруг изо-рта в роде как бы сельтерской водой шибануло. Сыграл все двенадцать колен, под конец еще пить-пикнул синицу и смолк. Сидит, молчит, я на него смотрю, а он помолчал, да как хватит на заркость: „зибить-бить“. Со всех сторон, вижу сле-

таются мои бесхвостые. Собрав всех своих друзей, турлукан ударил в последний раз „цибить-бить“. И вся стая махнула в сад к Ване-Шапочке. Тот, видно, не слышал турлукана, — бац, камнем в бесхвостых, и все улетели.

Прыг, я тогда через забор к Ване-Шапочке, кричу:

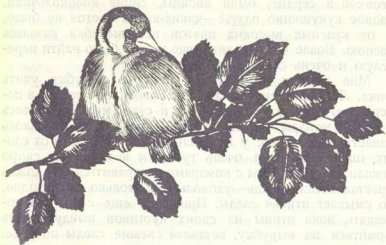
— Бей меня, бей, подлеца!

Он сначала было подумал, — я с ума сошел, а потом, когда я все рассказал, темный весь сделался и спрашивает:

— Зачем же тебе нужно было рвать хвосты всем подряд?

— Но ты же не понимаешь, Ваня... — бормочу я. И так сурово отвечает мне Ваня-Шапочка:

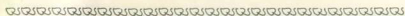
— Нет, брат, не понимаю я тебя и всех вас таких безжалостных охотников, я о каждой птице отдельно думаю и никогда не рву хвосты, и, особенно, чтобы всем подряд. Безжалостные вы, охотники, оборвете хвосты всем подряд, а после оказывается, что среди бесхвостых есть турлукан.





На вырубке вокруг черных пней было много высоких, елочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было желто-синих цветов Иван-да-Марья, белых ромашек с желтой пуговкой в сердце, были звонцы, синие колокольчики, лиловое кукушкино платье—каких-каких цветов не было, но от красных высоких цветов вся вырубка казалась красною. Возле черных пней еще можно было найти переспелую и очень сладкую землянику.

Мне дождик не помешал идти на вырубку учить Ярика. Летним временем дождик совсем не мешает, я пересидел его под елкой, сюда же в сухое место собрались от дождя комары и очень мучили мою собаку. Пришлось развести грудок, как у нас называют костер; дым от еловых шишек повалил очень густо, и комаров мы скоро выжили. Не успели мы с комарами расправиться,—и дождь перестал: летний дождь—удовольствие, только плохо, одно, что смывает птичьи следы. Пришлось еще с полчаса подождать, пока птицы из своих кустиков выйдут опять кормиться на вырубку, оставляя свежие следы по росе. Когда по моему расчету это время прошло, мы вышли на красную вырубку, и, сказав: „Ищи друг!“, я пустил своего Ярика бегать кругами по красной вырубке.



Ярик проходит под моим руководством третье поле — высший курс ирландского сеттера. Учение состоит только в том, чтобы дичь он искал и останавливался, когда близко почует, но ни под каким видом не смел бы бежать за птицей, когда она подымается.

Часто я с завистью гляжу на нос своего Ярика и думаю: „вот если бы и я так далеко мог чують, с какою бы радостью, ловя ветерок, пустился бы я бегать кругами по красной вырубке“.

— Ну же, скорей находи! — повторил я своему другу.

На опушке, под деревьями Ярик вдруг остановился, крепко обнюхал место, искоса очень серьезно взглянул на меня, приглашая таким образом следовать за собой: так мы понимаем друг друга без слов. Он повел меня за собой очень медленно, сам же сильно уменьшился на ногах, и огненно-рыжий низкий с большим хвостом очень стал похож на лисицу.

Мы пришли к густой заросли, в которую пролезть мог только Ярик, но одного его я не мог пустить, потому что без моего надзора он мог увлечься птицами, кинуться на них и погубить все мои труды по его обучению. С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он вильнул своим великолепным хвостом, похожим скорей на крыло, чем на хвост, и дал понять: „они тут ночевали, а кормились на поляне с красными цветами“.

— Как же быть? — спросил я его.

Он понюхал цветы: следов не было. Посмотрел на меня, спрашивая, можно ли бежать. Я понял: дождик смыл следы, а те, по которым мы шли, сохранились, потому что были под деревьями. Значит, мы шли по старым следам.

Тогда я позволил Ярику сделать круг по вырубке до встречи с новыми следами. Но и полкруга не сделал Ярик, как вкопанный остановился вдруг возле небольшого, но очень густого куста. Запах тетеревей пахнул ему на всем ходу, и потому он стоял в очень странной позе — изогнулся весь кольцом и, если бы захотел, мог вполне любоваться своим великолепным хвостом.

Я поспешил к нему, и когда он заметил, что я около него, позволил себе немного разогнуться. Я погладил его и шепнул тихонько:

— Если можно, пройди еще немного.

Он распрямился, попробовал шагнуть вперед, и это оказалось можно, только надо до крайности тихо. Так мы обошли весь куст кругом и вместе сообразили: они были тут во время дождя, когда и мы сидели под елкой и разводили грудок. Я наклонился по направлению носа Ярика и заметил серые перышки: во время дождя они обирали с себя от нечего делать лишние линяющие перышки.

Можно было теперь глазом заметить по примятой траве, где они лежали, где выходили, и все это подробно, медленно, с великой осторожностью осмотрев, обнюхав, Ярик ведет меня по самому верному следу, по роске, по видимому глазом зеленому бродку на седой от росы траве.

Вероятно они услышали нас и тоже пошли вперед, я это понял по Ярику, он мне по-своему сказал:

— Идут впереди нас и очень близко.

Они все вошли в большой куст можжевельника, и тут Ярик сделал мертвую стойку. До сих пор еще можно было ему время-от-времени раскрывать рот и ха-хять, выпуская свой длинный язык, теперь же челюсти его были крепко стиснуты и только маленький клочок языка, не успевший во-время вобраться в рот, торчал из-под губы, как розовый лепесток. Комар сел на розовый кончик языка, впился и стал наливаясь кровью, и видно было, как темно-коричневая, словно клеенчатая тюпка Ярикова носа волнуясь от боли и запаха дичи как бы танцевала, но нельзя было даже перебрать губой, потому что если это позволить себе, то из пасти может сильно пахнуть дыханием и распугать птиц.

Я сам в эти минуты до сих пор не могу не волноваться, и если бы можно было руками схватиться за сердце, чтобы оно не колотилось так громко, я бы непременно его задержал и перевязал бы крепко веревкой.

Видя комара, наливающегося Яриковой кровью я все-таки не мог вынести и осторожно, продвинувшись вперед, щелчком сбил его, но Ярик от этого и не пошевелился, стоя мертво, как бронзовый, и его блестящие клоки шерсти там и тут были как языки пламени, а глаза, устремленные в одну точку, были умны и страшны...

Я тихонько обошел куст и стал с той стороны против Ярика, чтобы птицы не улетели за кустом невидимо, а поднялись вверх.

Казалось нашему стоянию и конца не было,—я сделал шаг вперед и услышал в кусту голос тетеревиной матки, она квохнула по-куриному и этим сказала детям:

— Вылетаю, а вы посидите.

И со страшным треском, хлопаньем мокрых крыльев о мокрые ветки, вылетела.

Если бы она полетела на меня, то Ярик бы не тронулся, и если бы даже просто пролетела над ним, тоже бы выдержал, потому что он знает, что нет большего преступления для ученой собаки, как бежать за взлетевшей птицей. Но тетерка, большая серая, почти в курицу птица, вдруг кувырнулась в воздухе, полетела почти к самому Ярикову носу и над самой землей полетела, маня его:

— Догоняй же, видишь, я какая, и летать-то хорошо не умею.

И вдруг, как убитая, в десяти шагах свалилась в траву.

Этого Ярик уж не выдержал и, забыв всю мою науку, бросился...

Оторвалось у меня сердце. А тетерка, заметив, что фокус ее удался, крикнула своим детям в куст:

— Дурак сейчас за мной побежит, а вы летите все в разные стороны.

Но они были мокрые от росы, им страшно было шевельнуться.

Тогда последним безумным криком мать вскричала:

— Летите, летите!

И молодые вдруг все взорвались.



В это мгновение пасть Ярика была над самой маткой; взлетая, она чуть ли не хлопнула его своим крылом по носу.

Больше теперь ей не нужно фокусов, она обманула собаку, отманила от детей: быстро подлетев к большому лесу, она высоко взмыла и пропала за лесною стеной.

— Дурак, дурак!—были ее последние слова бедному Ярику.

— Назад!—крикнул я своему одураченному другу.

Он опомнился и, ужасно виноватый, стал медленно ко мне подходить.

— Что ты сделал?—спросил я его особенно жалким голосом.

Этого голоса он не выносит.

Он лег.

— Ну, иди же.

Ползет виноватый. Кладет на мои колени голову, очень просит простить.

— Ладно,—говорю я несчастной собаке,—лезь за мной в куст, смирно сиди и не ха-хай: мы сейчас с тобой тоже всю эту семью одурачим.

Минут десять мы сидим очень тихо, и потом я свищу, как тетеревята:

— Фиу-фиу.

Значит:

— Где ты, мама?

— Квох, квох—отвечает она из леса.

Значит:

— Иду.

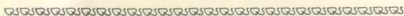
Услыхав мать, с разных сторон вокруг нашего куста засвистели тетеревята:

— Фиу-фиу, где ты мама?

— Иду, иду—всем отвечает она.

Один цыпленок свистит очень близко от меня, я ему отвечаю, как брат, он бежит вот уже около самого меня, вижу,—трава шевелится...

Погрозив Ярику кулаком, грозно посмотрев на него, я накрываю ладонью шевелящееся место в траве и выта-



скиваю серого, довольно уже большого, с голубя, цыпленка.

— Ну-ка, понюхай — тихонечко говорю я своему Ярику.

Отвертывает нос, потому что боится хамкнуть, и сам весь трясется, как в лихорадке.



Ярик не выдержал и, забыв всю мою науку, бросился за тетеркой.

— Нет — шепчу я жалким голосом — ты понюхай-ка, друг.

Делать нечего, нюхает, а сам весь как мотор.

Самое сильное наказание.

Вот теперь я уже смело свищу и знаю, непременно прибежит ко мне матка: всех соберет, одного нехватит — и прибежит за последним.

Их всех, кроме моего, — семь; слышу, как один за другим, найдя мать, смолкают; и когда все семь смолкли, я, восьмой, спрашиваю:

— Где ты, мама?

— Мы собрались — отвечает она — иди!

— Фиу-фиу, — свищу, — нет же, иди ко мне!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

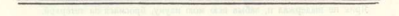
— Ну, не будь дураком.

— Ну, не будь дураком.

И пускаю своего тетеревенка.

— Вот как мы вас одурачили, граждане!

— Вот как мы вас одурачили, граждане!





Когда, бывало, у бабушки под окном малина поспеет, воробьи начинают табуниться, и стайками на малину. Бабушка кричит дедушке:

— Вору!

А дедушка газету читает в кресле, не хочется ему подниматься, воробьев гонять, и отвечает бабушке:

— О-о...

Мыкнет дедушка, надеется,—так пройдет, а бабушка терпеть не может это „о“ и кричит:

— Что ты окаешь, бей скорей, бей!

Так всегда бывало; бабушка:

— Вору!

Дедушка

— О!..

Бабушка:

— Бей!

А я ору:
— Вор-о-бей! О-о-о! Вор-о-бей! Дедушка, воробей!
Мы с дедушкой отворяем окно и пускаем чем-нибудь в малину, больше, бывало, хлебным ножом. Воробьи слетают,—и все рядышком рассаживаются на заборе.
— Ступай,—скажет мне дедушка,—ищи ножик.
Я с радостью бегу в малину, будто ножик искать, а сам под куст и там из-под низу—хап-хап в рот поскорей самую крупную ягоду.

— Ты где?—беспокоится бабушка.
— Здесь,—отвечаю из малины.
— Что ты там?
— Ножик ищу.
Но бабушка хитрая, заметила и кричит:
— Вор!..
— О!—откликается дедушка.
— Бей, бей!

А я из малины:
— Воробей, дедушка, воробей.
И скорей бегу подавать ему ножик.
Вот он стоит у окна, протирает очки, надевает вглядывается, спрашивает:

— Да где же, я что-то не вижу.
— Вот он,—показывает ему бабушка на меня: это самый главный наш воробей.





Раз я шел по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа, он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук! очень похоже как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога, он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.

— А, ты так со мной,— сказал я.

И кончиком сапога спихнул его в ручей. Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине иголки. Я взял палочку, скатил ежа в свою шляпу и понес домой.

Мышей у меня было много, я слышал ежик их ловит,—и решил: пусть он живет у меня и ловит мышей.

Так, положил я этот колючий клубок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно, как только я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал итти, сюда, и выбрал себе, наконец, место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажег лампу и... здравствуйте.—Ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате,

представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко, стало совсем как в лесу, и луна, и облака, а ноги мои были, как стволы деревьев и, наверное, очень нравились ежику, он так шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задники моих сапог.

Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел в кровать и уснул.

Сплю я очень чутко, слышу—какой-то шелест у меня в комнате, чиркнул спичкой, зажег свечу и только заметил, как мелькнул еж под кровать, а газета лежала уже не возле стола, а посередине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: „зачем это ежику газета понадобилась“. Скоро мой жилец выбежал из-под кровати и прямо к газете, завертелся около нее, шумел, шумел и, наконец, ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил ее огромную в угол.

Тут я и понял его: газета ему была, как в лесу сухая листва, он тащил ее себе на гнездо, и оказалось, правда, в скором времени еж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечку-луну.

Я подпустил облака и спрашиваю:

— Что тебе еще надо?

Ежик не испугался.

— Пить хочешь?

Я встал. Ежик не бежит.

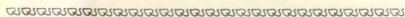
Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой и то налью воды в тарелку, то опять волью в ведро и так шумлю будто это ручеек поплескивает.

— Ну, иди, иди, — говорю — видишь я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода.

Смотрю: будто двинулся вперед. А я тоже немного подвинул ему свое озеро. Он двинется—и я двину, да и сошлись.

— Пей, — говорю окончательно.

Он и залакал.



А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю:

— Хороший ты малый, хороший.

Напился еж, я говорю:

— Давай спать.

Лег и задул свечу.

Вот не знаю, сколько я спал, слышу, опять у меня в комнате какая-то работа. Зажигаю свечу—и что же вы подумаете? Ежик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот еж подбежал, свернулся около яблоков, дернулся и бежит, на колючках другое яблоко тащит в гнездо.

Так вот и устроился у меня жить ежик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему налью на блюдечко—выпьет, то булочки дам—съест.





Дергач и перепёлка

В середине лета и соловей, и кукушка перестают петь, но почему-то еще долго, пока не скосят траву и рожь, кричат дергач и перепелка. В это время когда все смолкает в природе от больших забот по выращиванию малышей, выйдите за город после вечерней зари, и вы непременно услышите, как дергач кричит, в роде как бы телушку зовет изо всей мочи:

— Тпрусь, тпрусь.

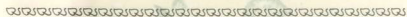
И вслед за тем перепелка очень торопливо и отрывисто, похоже на слова:

— Вот идет.

Вот ведет.

Раз я спросил бабушку, как это она понимает, почему дергач кричит „тпрусь“, а перепелка „вот идет, вот ведет“. Старушка рассказала про это сказочку:

— Дергач сватался весной к перепелке и обещался ей телушку привести. Наговорил ей, как они хорошо будут жить с коровушкой, молочко попивать и сметанку лизать. Обрадовалась перепелка и согласилась с радостью жить с дергачом, обласкала его, угостила всеми своими зернышками. А дергачу только это и надо было, чтобы посмеяться над перепелкой. Ну, какая же, правда, у дергача может быть корова—одно слово дергач, голоногий, бестонный насмешник. Вот когда смеркается и перепелке



ничего не видно на лугу, дергач сядет под кустик и зовет нарочно корову:

— Тпрусь, тпрусь!

А перепелка дождалась, — рада; думает, дергач и вправду корову ведет. Хозяйственная она, перепелка, радость радостью, а забота сама собой одолевает: нет у нее хлева, куда девать ей корову.

— Тпрусь, тпрусь! кричит дергач, а перепелка беспокоится:

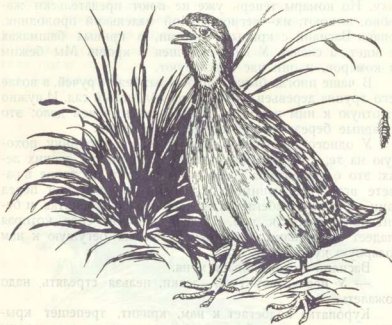
— Вот идет.

Вот ведет.

Хлева нет. —

Негде деть.

Так всю ночь дразнит и беспокоит дергач перепелку, от вечерней зари до утренней...





Мы вступаем в глубину Лапландского леса с ружьями, заряженными пулями и дробью. Тут мы каждую минуту можем застрелить медведя, дикого оленя, росомаху. Но комары теперь уже не поют предательски жалобно, а воют; их—легионы! Мой маленький проводник, лопарь Василий с кривыми ногами, в кривых башмаках не идет, а скачет. У него вся шея в крови. Мы бежим от комаров, и они нас преследуют.

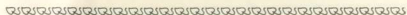
В чаще иногда бывают просветы: бежит ручей, а возле него группа деревьев, похожих на яблонный сад. И нужно вплотную к ним подойти, чтобы понять, в чем дело: это полярные березы растут совсем как яблони.

У одного такого ручья мы заметили тропинку, похожую на те, которые прокладывают коровы в наших лесах: это оленья тропа. Теперь мы спешим по тропе в расчете встретить гонимого комарами оленя. Вдруг перед нами на тропу выбегает птица, полярная куропатка, и бежит не от нас, а к нам. Подчиняясь той силе, которая владеет охотниками, я навожу ружье на бегущую к нам полярную куропатку.

Василий останавливает меня.

— У нее—говорит он—детки, нельзя стрелять, надо пожалеть.

Куропатка подбегает к нам, кричит, трепещет крыльями по земле, как-будто стараясь испугать нас своим



грозным видом и очень похожа на курицу, защищающую детей от собаки. На крик ее выбегает другая, такая же. Обе птицы о чем-то советуются: одна бежит прямо в лес, другая по оленьей тропе и оглядывается, будто манит нас за собой по какому-то очень важному и таинственному лесному делу. Мы остановимся — и она остановится; мы идем, и она катится вперед по тропе, как волшебный колобок. Так выводит нас на полянку, покрытую травой и березками, похожими на яблони, — останавливается, оглядывает нас, кивает головой и пропадает в траве.

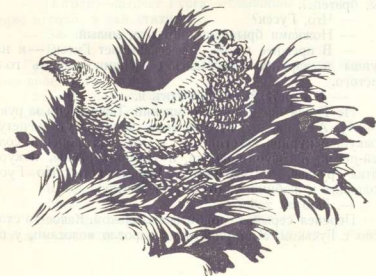
Обманула нас, завела на какую-то полянку, а сама дирака.

— Вон смотри на нее — указывает Василий, вот она там пробирается.

Над убегавшей птицей виден след шевелящейся травы.

— Назад бежит, к деткам, я верно говорил, нельзя стрелять, надо пожалеть.

Так, время-от-времени выбегают птицы, иногда с большими семьями, раз даже из-под елового шатра выскочила с гнезда глухарка встрепанная, растерянная и села в десяти шагах от нас, и смотрит, как-будто думая: „поскорей бы проходил, а то яйца остынут“.





ГУСЁК

Когда-то я думал как и многие, что перепела кричат на один лад.

— Во-на! — сказал мне один охотник, по прозвищу Гусек, — во-на! на один лад! Да знаешь ли, братец ты мой, голосистого перепела верст за двадцать слышно. А ежели он на поповом огороде треснет, или у Горелого пня, так ты, братец...

— Что, Гусек?

— Ножками брыкнешь, вот что, милый.

— В прежнее время, — рассказывает Гусек, — к нам купцы в каретах съезжались с женами слушать голосистого.

— В каретах? — сомневаюсь я.

Но Гусек не выносит сомнений. Тащит меня за рукав в избу. А в избе у него всякие птицы: тут и петух-дракун, и курица кахетинская, и скворец-говорец, и соловей-певец, и голуби-космачи, и голуби-вертуны, и куропатка ручная, а перепелов! Всякие есть. Но Гусек подводит к любимому, открывает клетку:

— Люб ли тебе?

Перепел серый, с подбитым затылком. Какое-то сходство с Гуськом. У старика лицо заросло волосами, у пе-

репела—перышками, нос голый и чуть-чуть крючком, перепелиный клюв. И перепел, и Гусек—серые.

— Люб ли тебе?

— Серенький...

— Вот то-то и горе, мой милый, что серый; настоящий-то, купеческий белый.

— Белый?

— Как бумага. Не веришь—покажу. Сам своими глазами видел. Белому—цена десять рублей. Поймаю, продам и куплю себе тульский самовар. Приходи на вечернюю зарю к Горелому пню.

II

Выхожу я вечером к Горелому пню. Смеркается. Едет мужик в ночное, будто черный парус плывет по зеленому морю. Заяц зачем-то плетется на попов огород. Лягушки-квакушки стихли, зато лягушки-турлушки завели трель на всю ночь. Кукушки охрипли и смолкли. Черный дрозд пропел. А перепела все не кричат.

— Рано?

— Погоди,—шепчет Гусек,—слышишь: соловьи еще зорю играют, а дай стихнуть...

— Закричат?

— Во-на!

Гусек шепчет свое „во-на“ совсем на перепелиное любовное „ма-ва“.

Стихают один за другим соловьи.

„Чмок-чмок“—и конец.

И кажется,—звенит тугая струна.

— Жук.

— Жук прожундел.

— К чему-й-то много жундит жуков,—шепчет Гусек.

— К чему?

— Молчи.

Молчу. Но лягушки-квакушки отчего-то вдруг проснулись, взгомонились и заглушили лягушек-турлушек.

— Куа-куа,—передразнивает недовольный старик.

Квакушки замолчали. Заголосили девки в деревне.

— Эк вас!..

Собаки залаяли.

— Пропадите вы пропадом!

На колокольне сторож ударил; глянула на небе первая звезда. Пахнуло от озими рожью. Пала роса. Тогда-то, наконец, по всему росистому полю—от попова огорода и по наш Горелый пенё—будто кто-то невидимый хлопнул длинным-предлинным арапником: крикнул перепел.

— Голосистый, белый.

Купеческий.

И тихо, как полевые звери, крадемся мы по росистому полю вниз к оврагу, и на ту сторону к попову огороду.

III

Голосистый не шутит: бьет—в ушах звенит. Самка молчит. Берет опаска; тюкнет не во-время. Расстелить бы и оправить поскорей сеть. Хорошо, что молчит: чуть копается в своей темной лубяной клетке, обвязанной бабьим платком. Сытая она теперь и довольная: перед ловом Гусек напоил ее для чистоты голоса теплым молоком.

Зовет голосистый. Она молчит под сетью в пахучей росистой ржи.

Осторожно берет Гусек свою кожаную с мехом гармонику-тюколку и тюкает. Когда самка молчит, необходимо подтюкнуть;

— Тюк-тюк!

И наступает последний решительный миг; самка взяла.

— Тюк-тюк!

Если бы можно было теперь съежиться в маленькие комочки, как перепела, и притаиться под глудкой ¹⁾). Если бы уйти по самое горло в землю и покрыться краешком

¹⁾ Глудка—комочек земли.

сети. И загорелось же тому голосистому белому перепелу. Мечется он по полю, выбегает, как мышь, на межу, поднимает головку, смотрит над стеблями. И опять в рожь, и со всего маху:

— Пить-полоть.

А она в ответ тихо:

— Тюк-тюк.

Но ему ли отвечает она. Ведь, теперь по всему полю кричат перепела.

Она отвечает ему. Конечно, ему.

Он егозит на рубеже. Поднимается на цыпочки, нет не видно. Он мечется и латошит, перескакивая с глудки на глудку. Пробует взобраться на сухой татарник—колко. На прошлогоднюю полынь—гнется. Хочет крикнуть—голос пропал: вместо прежнего звонкого „пить-полоть“—хриплое и неслышное—„ма-па“.

— Тюк-тюк,—отвечает она.

Он хлопает крыльями о сырые темные комки и больше не слышит земли под ногами,—летит. Куда летит? Кто знает? Свет велик.

Позади роса. Вверху звезды. Впереди месяц. Внизу пахучие росистые озими.

— Летмя, летмя,—шепчет Гусек, сгибаясь над сетью в три погибели.

И вдруг перепел упал возле сети. Шуркнул в зеленых, шепчет:

— Ма-ва.

— Тюк-тюк—отвечает она.

Иди, иди, любезный перепел,—замирает у нас сердце.

Он ходом идет, шевеля верхушками озимых стеблей. Перед самую сетью плешника—вымочина ¹⁾, рожь рожь едва-едва прикрывает его. Он останавливается, боится. Может быть, видит уже, что тут, в десяти шагах, другой огромный перепел сидит, согнувшись над полем, и отблеск зари зловеще сверкает на его голом перепелином носу.

¹⁾ Вымочкины—круги на озими от медленно таявшего снега.

— Видит, или не видит,— замирает у нас сердце.
— Не видит. Идет напролом. Последнее „ма-ва“, последнее „тук-тук“, и рожь шевелится под сетью возле самой клетки.

Теперь самка высунула свою серую головку из лубяной темницы в окошко, где привязана фарфоровая чашечка для питья, а он тоже у чашечки. И глядят друг на друга: очи в очи, клюв в клюв.

Мы встряхиваем сеть. Перепел висит. Голосистый туго завязан в мешочке из-под проса. Полевая песнь его спета.

Дома, при огне мы хотим полюбоваться драгоценной добычей, пересадить из мешочка в клетку.

Развязываем, вынимаем.

— Во-на!..

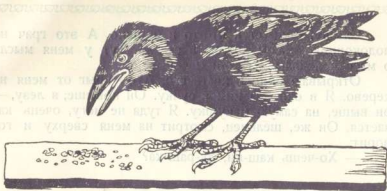
— Что ты, Гусек, покажи?

— Серый,— качает головой Гусек;—опять мимо капнуло,—русака ловили.

Что это? Или уже вовсе на свете нет белого?

Тускло горит керосиновая копчушка в избе старика. Спит петух-дракун, спит соловей-певун, спит скворец-говорец, спит плотный ряд космачей и турманов на шесте. Нет купеческого перепела, нет у Гуська тульского самовара.





Говорящий грач

Расскажу я тебе случай, какой был со мною в голодном году. Повалился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок. Видно, сирота был. А у меня в то время целый мешок гречневой крупы был. Я и питался все время кашей. Вот, бывало, прилетит грачонок, я посыплю ему крупы и спрашиваю:

— Кашки хочешь, дурашка?

Поклюет и улетит. И так каждый день, весь месяц. Хочу я от него добиться, чтобы он на вопрос мой:

— Кашки хочешь, дурашка? — сказал бы: — Хо-чу.

Так и так пробую. Бывало, морю его на подоконнике и два, и три часа голодного. Учю его говорить: „хо-чу! хо-чу!“. А он только желтый нос открывает и красный язык показывает. „Ну, ладно!“ — рассердился я, и забросил ученье с грачом.

К осени случилась со мной беда. Полез я за крупой в сундук, а там нет ничего. Вот как воры обчистили, половинка огурца на тарелке была — и ту унесли. Лег я спать голодный. Всю ночь вертелся. Утром в зеркало посмотрел: лицо зеленое стало.

Открываю окно и хватаю его. А он прыг от меня на дерево. Я в окно за ним к сучку. Он повыше; я лезу, — он выше, на самую макушку. Я туда не могу, очень качается. Он же, шельмец, смотрит на меня сверху и говорит:



Цена 28 коп.



Иллюстрация
к книге

2 У. МАК-МАН